

Стр. 168.

¹⁰⁻¹¹ Мы сейчас только указали отчасти, что такое и чем должен быть истинный отец / И сейчас только говорили, что такое настоящий отец

³⁷ После: эгоистом, чудовищем? — В первый день по приезде *«пропуск»* благодарит старика доктора за его панталончики, сделанные еще двадцать три года *«пропуск»*. Это ли бесчувственность.

⁴³ После: как дикий зверь. — Он много старался *«пропуск»* и вот люди же собрались судить его.

Стр. 169.

² житейские правила / и житейские морализмы сжедшево
¹⁰ дежны сердцем / нежны сердцем своим

¹⁴ Я бы не стал пад этим смеяться / Я бы не посмеялся над этим

²² Опять-таки не смейтесь надо мной / О, не смейтесь опять

²³ Они только не могут / Оп только не может

³⁴ После: она сама измешила — она любит другого, и этого от нас не скрыла. Заслушав давеча все показания этого пового избранника сердца *«З праб.»* пораженная, вероятно, страшным видом болезни его, она засвидетельствовала другое, чем час пред тем.

Стр. 170.

⁷ пока я на этом месте, я пользуюсь моею минутой / пока я на этой трибуне, я пользуюсь моим мгновением

¹¹ и тогда только разрешим себе спрашивать / и тогда только будем спрашивать

Стр. 171.

¹ После: христианским делом — скажем все

²⁸⁻²⁹ «Отец, скажи мне: для чего я должен любить тебя? / «Отец, точно я должен любить тебя?»

³⁵⁻³⁶ Слов: и право впредь считать отца своего за чужого себе и даже врагом своим — нет.

Стр. 172.

¹¹ После: не зная зачем. — Прибежал же в дом единственно *«пропуск»*, где она.

¹⁶ что этой жепщицы нет / что ее нет

³⁵ из глубины души / из глубины смятенной души

³⁹⁻⁴⁰ и в темнице нагого не посетили / и в темнице не посетили

Стр. 173.

⁶ Оно преклонится пред вашим подвигом / Оно ждет милосердия
¹⁵⁻¹⁶ он воскликнет: «Люди лучше, чем я / он скажет: «Люди лучше, чем я». Если он и повинен, в чем я не сомневаюсь ни на минуту, то все-таки скажет: «Люди лучше, чем я»

²¹ После: нашей славной истории? — Отпустите его и вы облегчите совесть его, а он — он воскреснет и оправдает милосердие ваше

²² Мне ли, ничтожному, напоминать вам / Мне ли вам говорить

СТАТЬИ

В. А. БАЧИНИН

ДОСТОЕВСКИЙ И ГЕГЕЛЬ

(К проблеме «разорванного сознания»)

1

Европа XIX в. переживала глубокие социальные преобразования. Буржуазные революции, прогремевшие над нею, не принесли народам ожидаемых результатов. Личность приобрела лишь одну действительную свободу — свободу эгоистического самоутверждения. Дисгармония, разъедавшая общество, пропикала в сознание его членов. Слабые умы, пораженные ею, погружались в филистерство или безумие, сильные метались в поисках выхода.

В атмосферу всеобщего брожения умов, охватившего мыслящую Европу, оказались вовлечены философы и поэты, писатели и художники, студенчество и интеллигенция. И понятно, почему в этом многоголосом хоре отдельные голоса начинают перекликаться, как бы ведя одну и ту же тему в разных ключах.

Именно на этом проблемном перекрестке соприкасаются два великих имени, казалось бы столь далеко отстоящих друг от друга, — немецкого философа Г.-В. Гегеля и русского писателя Ф. М. Достоевского. Уже указывалось на перспективность сравнительного анализа отдельных сторон творчества этих незаурядных мыслителей.¹ Но развернутая экспозиция темы «Достоевский и Гегель» в советской научной литературе до сих пор не была представлена. Данная работа является попыткой дать предварительный эскиз ее решения.

Сочинения Гегеля, как и романы Достоевского, явились своеобразными формами исследования человеческого бытия. Для понимания причин искажения личности и ее внутреннего мира в условиях зарождающегося капитализма наибольший интерес

¹ См.: История философии в СССР, т. 3. М., 1968, с. 367.

представляют страницы гегелевской «Феноменологии духа» (1807), посвященные «миру отчужденного от себя духа». Гегель рисует здесь картину становления буржуазно-капиталистических отношений в Европе, давая при этом ряд убийственных по своей меткости характеристик этого процесса. «Мир отчужденного от себя духа» — мир уже не феодальный, но еще не капиталистический. Вместе с ним в человеческом сознании существует явление «разорванности», оно возникает на рубеже двух эпох и состоит в сочетании частей различных систем духовных ценностей в сознании индивида. Будучи идеалистом, Гегель пытается объяснить формы исторической действительности, исходя из модификаций сознания. Тем самым он мистифицирует действительный исторический процесс. Но важно отметить, что философ улавливает главное — связь форм бытия и сознания. Переломный, переходный характер эпохи и «разорванность» сознания выступают для него в качестве явлений одного порядка. Заслуга Гегеля заключается в том, что он первым из европейских мыслителей дал категориально-обоснованный анализ одного из сложнейших явлений духовной жизни общества.

«Разорванное сознание» в качестве мировоззренческой характеристики встречается и у большинства персонажей Ф. М. Достоевского (его модификации — «двойничество» или «подполье»). Являясь следствием разрыва межчеловеческих связей, оно ведет к разрушению личности. Предельно деформированная личность в итоге остается способной созидать лишь свое собственное одиночество, отчуждение от всех. Социальные противоречия пореформенной России, спроецированные на внутренний мир героев Достоевского, рождают столь сложные переживания и духовные драмы, что даже гамлетовское «быть или не быть» тускнеет рядом с ними.

Представляется, что сходное звучание темы отчужденного человеческого бытия у Гегеля и Достоевского не есть результат непосредственных влияний гегелевских идей на творчество русского писателя. Скорее речь должна идти о влияниях иного уровня, более сложных, опосредованных. Впрочем, это не исключает вопроса о непосредственном знакомстве Достоевского с гегелевской философией. Сохранились сведения об его интересе к философии истории Гегеля. В письме из Омска от 22 февраля 1854 г. Достоевский обращается к старшему брату с просьбой прислать в числе других книг «Критику чистого разума» И. Канта и сочинения Гегеля: «...пришли непременно Гегеля, в особенности Гегелеву философию истории. С этим вся моя будущность соединена!» (П., I, 139). Известно о знакомстве Достоевского с произведениями Прудона, находившегося под влиянием Гегеля. Нельзя не упомянуть о многолетних контактах писателя с Н. Н. Страховым, известным русским идеалистом, поклонником и большим знатоком философии Гегеля, переводчиком историко-философских трудов Куно Фишера о Гегеле. Все

это может служить свидетельством осведомленности Достоевского в основных положениях философии Гегеля. Но, разумеется, этого недостаточно, чтобы говорить о каком-либо непосредственном влиянии на писателя идей немецкой классической философии. Да вряд ли это и возможно, если учесть, что годы творчества Достоевского совпали с периодом разложения гегелевской школы. Важно другое. В художественных типах Достоевского и в феноменологическом образе «разорванного сознания» у Гегеля оказался сгущенным до конкретной осязаемости дух сложнейшего исторического периода. Бесчисленные противоречия, обнажившиеся на изломе двух эпох, оказались закристаллизованы на страницах «Феноменологии духа» и романов Достоевского. Философ поставил диагноз, свидетельствующий о начале эпохального мировоззренческого кризиса. Достоевский в образах русских людей середины XIX в. дал художественно оформленный анализ тех явлений, которые были лишь зафиксированы Гегелем в категории «разорванного сознания». Вполне резонно предположить, что результаты художественного и философского анализа явлений духовной жизни общества на рубеже феодальной и капиталистической формаций способны к взаимодополняемости.

2

Задачи, которые ставил перед собой Гегель, создавая «Феноменологию духа», были беспрецедентны по масштабам. Подобно Аристотелю, Гегель распространяет власть своего интеллекта над всей Ойкуменой духовного бытия человечества. Бездна идей наполняет эту уникальнейшую из книг. В ней ставится и разрешается бесчисленное множество проблем.

Для темы «Достоевский и Гегель» наибольший интерес представляют страницы, посвященные «миру отчужденного от себя духа». За необычайно рельефно выписанными феноменологическими образами «благородного», «низменного», «разорванного» сознаний у Гегеля стоит процесс капитализации европейского мира. Это уже не время целокупных полисов и монолитных фаланг «царства нравственности», каким была античность, это пора всеобщей раздробленности мира на индивидуальности, эпоха, где имеет значение только «я», но не «мы».

Типы сознания, выделенные Гегелем, обретают свой статус в зависимости от их отношения к государству и богатству. «Благородное сознание» расценивает эти две силы как добро, «низменное» — как проявление зла.

Постепенная деградация «благородного сознания», рост его эгоистических устремлений постепенно приводят к тому, что оно перестает отличаться от своей противоположности, от «низменного сознания». В этом перерождении виновен разрыв между действительностью и сознанием, обыденным и идеалом. Так как, согласно Гегелю, само сознание принадлежит действительности,

то трещина проходит сквозь него, поэтому оно и получает название «разорванного».

«Разорванное сознание» возникает в тот момент, когда лавчанине раздваиваться «благородное сознание» замечает собственную раздвоенность. Это выглядит как осознание «благородным сознанием» собственной несущественности, своей зависимости от случайной личности «другого». Под «другим» Гегель подразумевает фигуру монарха. Осознание неравенства между положением монарха и собственным шатким положением приводит к тому, что рыцарское сердце «благородного сознания» переполняется чувством глубочайшего возмущения и отверженности. «Героизму служения» и возвышенному характеру отношений на смену приходит разочарование, эгоизм, лезть из-за страха, лицемерие, корыстолюбие. Черты, составляющие особенность «благородного сознания», исчезают, превращаясь в свойства, составляющие основу деятельности его противоположности — «низменного сознания». «Дух благодарности» по отношению к сюзерену, характерный для времен короля Артура и рыцарей Круглого стола, сменяется «духом глубочайшего возмущения», олицетворением которого может служить Кромвель, стоящий у гроба казненного им короля. Столкновение же этих двух противоположных настроений в пределах одного и того же сознания порождает явление «разорванности».

Любопытен способ, которым Гегель обосновывает право на существование, закономерность появления «разорванного сознания». Он не считает, что «разорванность» — свойство абсолютно всех умов на данном этапе истории; кроме нее, существует еще и «честность». «Честное сознание» не знает колебаний между крайностями, сотрясения действительности не в силах поколебать его убеждений, его мысли тверды, прямолинейны и плоски. Но диалектика бытия приводит к тому, что именно оно-то и становится «извращением» и «образованным безмыслием», которое не понимает, что путь столь любезной ему «честности» и приводит его к извращенности. В этой мысли подспудно присутствует догадка Гегеля о том, что именно эпоха формирует умы и характеры. И коль мир раскололся пополам, то трещина неизбежно должна пройти через человеческое сердце, если оно не блуждает вдали от дорог истории.

Обратимся к индивиду, чье сознание Гегель назвал «разорванным». Его главной чертой является то, что он утратил мировоззренческий стержень, точку опоры, которая одновременно могла бы служить ему точкой отсчета, ориентиром в сложных, драматических ситуациях. Сдвиги, произошедшие в его сознании, приводят к тому, что в нем начинается переоценка традиционных ценностей, совершающаяся в хаотической форме смещения всех прежних понятий. В полной мере это касается и понятий нравственности. Именно в сфере моральной деятельности «разорванное сознание» обретает наглядность и определенность высказыва-

ний и поступков. Оценочный субъективизм достигает в нем степени абсолютной эластичности. С предельной ясностью это раскрывается в речах индивида. Остроумное звучание «разрывающих», бесстыдно-парадоксальных суждений является как бы музыкальной характеристикой «разорванного сознания». Диссонирующие звуки свидетельствуют о том, что инструмент безнадежно расстроен. «Содержание речей духа о себе самом и по поводу себя есть, таким образом, извращение всех понятий и реальностей, всеобщий обман самого себя и других; и бесстыдство, с каким высказывается этот обман, именно потому есть величайшая истина».²

В 1805 г. Гегель с чрезвычайным интересом отнесся к выпущенному Гете переводу «Племянника Рамо» Д. Дидро. В словесных фиоритурах племянника Рамо Гегель увидел не просто игру острого, своевольного и непоследовательного ума, а «язык разорванности», как сущность и истину Просвещения. Несмотря на всю способность Рамо мыслить и понимать, в его сознании присутствует паразитическая мешанина понятий. Хаос его речей — не случайный, а «отдающий себе отчет хаос». Все это наводит на мысль о некоей объективной причине этого «упорядоченного беспорядка» в суждениях героя Дидро. Гегель увидел причину маскарада понятий в речах племянника Рамо в том, что его сознание несет на себе печать «разорванности».

3

Диалектика пришла в произведения Достоевского прямо из жизни. «Живая жизнь» породила художественную диалектику ее отображения. Ее рождение — не случайный эпизод в истории литературы; она явилась в переломный период европейской истории и культуры, как итог накопленного человечеством опыта художественного освоения мира.

Мир образов Достоевского несет на себе не только печать яркой индивидуальности их создателя, но и черты эпохальной значимости породившего их процесса. Для Достоевского «на центральное место в русской жизни выдвинулся не вопрос о том или другом отношении к крепостному праву, а вопрос об отношении к новым, капиталистическим тенденциям русской общественной жизни, определившимся после 1861 года».³

Своеобразие российской пореформенной почвы заключается в том, что она порождает целый ряд фигур, иного, чем тоголевский, разряда, — «подпольных» философов XIX в. Об этом недвусмысленно говорит сам Достоевский в авторском примечании к «Запискам из подполья»: «... такие лица, как сочинитель таких записок, не только могут, но даже должны существовать в нашем

² Гегель Г.-В. Соч., т. 4, М., 1959, с. 280—281.

³ Фридрихендер Г. М. Реализм Достоевского. М.—Л., 1964, с. 11.

обществе, взяв в соображение те обстоятельства, при которых вообще складывалось наше общество» (5, 99).

Для Достоевского не составляет тайны причина происхождения такого склада мыслей и чувств, как у его «парадоксалиста». И в этом смысле он солидарен с Белинским, который писал о художественном методе натуральной школы следующее: «Человек, живущий в обществе, зависит от него и в образе мыслей и в образе своего действия. Писатели нашего времени не могут не понимать этой простой, очевидной истины, и поэтому, изображая человека, они стараются вникать в причины, отчего он таков или не таков и т. д. Вследствие этого, естественно, они изображают не частные достоинства или недостатки, свойственные тому или другому лицу, отдельно взятому, но явления общие».⁴

Между «подпольем» Достоевского и «разорванностью» Гегеля есть немало общего. Если «разорванность» — это «самосознание, которому свойственно возмущение, отвергающее его отверженность»,⁵ то разве не тем же самым является и «подполье», суть которого именно в осознании своей отчужденности, отверженности от всех и во внешках бессильной злобы на всех за это. По своему происхождению это явления одного порядка. Разница лишь в том, что «подполье» — это предельная степень «разорванности» сознания, принявшая форму парадоксальную и отталкивающую. Сквозь ужимки «подпольного парадоксалиста», этой «усиленно сознающей мыши», временами проглядывает такое отчаянное страдание, такая боль живой человеческой души, что повольно встает вопрос: «за что?» Разорванное и раздавленное человеческое «я» взывает о помощи. Трагедию, разыгрывающуюся изо дня в день в душе неприметного, почти гомеровского, чиновника, мог воссоздать с такой пугающей осязаемостью только Достоевский. Его «антигерой» превращает свои записки в «исправительное наказание». Его жизнь, говоря словами Гегеля, превращена в «язвительную насмешку над наличным бытием, точно так же, как над хаосом целого и над самим собой...»⁶

Обращают на себя внимание некоторые особенности образа подпольного человека. Если мы свободно можем представить себе внешность Родиона Раскольникова или Ивана Карамазова, то о внешности «парадоксалиста», кроме того, что это маленький и цуцлый человек, появляющийся время от времени то в панталонах с желтым пятном на колене, то в засаленном домашнем халате, — в повести ничего не говорится. Достоевского не интересует то, насколько выразительной предстанет внешне перед читателем эта фигура, ему важен прежде всего человек-проблема, человек-драма. Писатель как бы вычерчивает схему его внутрен-

⁴ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 8. М.—Л., 1957, с. 82.

⁵ Гегель Г.-В. Соч., т. 4, с. 279.

⁶ Там же, с. 282.

него мира, его сознания. Для Достоевского сознание «антигероя» — это поле с полюсами, между которыми постоянно присутствует напряжение. Источник его в трагизме мироощущения человека, который пытался, но которому не позволили «быть добрым». Болезненно осознаваемый разлад между мыслью и действительностью порождает в сознании подпольного типа тот «разрыв», который и приводит его к мысли, что сознание приносит человеку вред, что чем больше сознания, тем больше страдания, что сознание — болезнь, от которой следует излечиться. Со страниц «Записок из подполья» несется вопль человека о том, чтобы его «разорванное» сознание, словно изуродованный член, отняли от него. В «Записках из подполья» трагизм и ужас положения, в котором находится носитель «разорванного сознания», выступают с обнаженностью, которой не будет в дальнейших романах Достоевского и которая больше не появится ни у одного из писателей XIX и XX вв. Мышление подпольного типа не в состоянии выйти за свои пределы. Круговращаясь в их границах и не пытаясь выйти в сферы высшего бытия, оно живет лишь тем, что питается чувственным ядом каждодневных обид.

Иное у Раскольникова — для него «разорванность» выступит главным образом как противоречие идеи и природы. В области индивидуально-психологических реакций Раскольникова прослеживаются как бы два ряда: логический, состоящий из намерений и их предполагаемых следствий, и реальный, выступающий как череда непредвиденных реакций собственной природы на свои же действия. Эти реакции выступают в качестве силы, дезорганизующей процесс рефлексивного мышления и оказывающей сильнейшее влияние на все поступки Раскольникова. Достоевский совершил открытие, которое в психологической науке было сделано только много лет спустя.

Эпохальный мировоззренческий кризис, являющийся главной причиной появления феномена «разорванного сознания», необычайно явственно выступает в конкретной истории заблуждений петербургского студента. В своих исканиях Раскольников как бы движется от древнего императива «познай самого себя» к вопросу времени — «что делать?».

Апологеты буржуазного утилитаризма (а у Достоевского Лужин или Ракин) обладали конкретностью социальных целей, относя при этом проблемы морали на задний план или вообще низводя их до уровня крайних абстракций. Для Раскольникова, пытающегося выйти в иное ценностное измерение и отвергающего плоский буржуазный прагматизм, психологические и моральные проблемы выносятся на авансцену сознания. Они выступают для него с необычайной конкретностью и остротой, но «что делать», он не знает и потому совершает поступок, удивительный по своей кажущейся бессмысленности и бесполезности.

Внутренняя противоречивость содержания духовных миров персонажей Достоевского проявляется в самом складе их речей.

Построенные на стилистических контрастах и смешениях, они несут на себе печать противоречивости и раздвоенности. В них переплетается возвышенное с обыденным, вульгарное с трагическим. Диалектически эластичные и в то же время безжалостно «разрывающие» и обнажающие суждения героев Достоевского выступают в качестве характеристик, свидетельствующих об их духовной неустроенности.

С Иваном происходит то же, что и с Раскольниковым: они оба пытались вывести свой моральный закон из мышления на основе тезиса: «нам, умным людям, все позволено!» И оба не учли того, что у морального закона должно быть реальное основание, взятое из действительности и которое одно сообщает ему жизненную силу. Раскольников и Иван, не учитывая реальности, отбрасывают ее, но она, подобно бумерангу, возвращается, чтобы поразить обоих, одного «наказанием», другого — безумием.

Художественные образы Достоевского — обобщения первого ряда, они взяты непосредственно из действительности. Феноменологические образы типов сознания у Гегеля, а среди них и «разорванное сознание», могут быть названы обобщениями второго ряда, их ретроспективная обобщенность и теоретичность явно свидетельствуют об их опосредованном происхождении. Гегелевское «разорванное сознание» — это абстрактно-логическая модель реальных явлений, которая еще не приобрела строгости научного понятия, но уже потеряла все то, что присуще чувственно-целостным, индивидуализированным образам искусства. Но пульсирующая поэтичность и красочность гегелевского языка время от времени как бы выпрыскивает кровь в спекулятивно-бледный образ «разорванного сознания». Апеллируя к «Шлемяннику Рамо», Гегель как бы одушевляет свое мышление в понятиях мышлением в образах.

Достоевский — прежде всего художник, у него нет системы, да она ему и не нужна. Он скорее интуитивно, чем рационалистически, выхватывал из многообразия окружающей действительности то, что давало толчок его воображению или оказывалось наиболее близким ему по духу его творческой установки.

Важно отметить, что и для Гегеля и для Достоевского «разорванное сознание» и «подполье» — это переходящие явления, которые должны быть преодолены в процессе истории, отрицаются достижением высшего идеала.

Если начавшийся на рубеже XIX в. эпохальный мировоззренческий кризис был зафиксирован Гегелем в типе «разорванного сознания», то у Достоевского на основе опыта русской жизни это явление получило художественно осмысленное, образно оформленное бытие. Результаты философского и художественного анализа Гегеля—Достоевского обладают, таким образом, свойством взаимодополняемости.

Р. Я. КЛЕЙМАН

ВСЕЛЕННАЯ И ЧЕЛОВЕК В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ ДОСТОЕВСКОГО

Задача настоящей работы — выявить некоторые структурные и функциональные особенности мотива мироздания в художественном мире Достоевского. В работе предпринимается также попытка историко-типологического сопоставления этого мотива со сходными мотивами в культуре Ренессанса.

Одна из типологических черт реализма Достоевского заключается, на наш взгляд, в синтезе социально-политического, морально-этического и других планов с планом *вселенским*. В ходе исследования представляется необходимым вычленив из синтеза этот вселенский план, отнюдь не умаляя, разумеется, значимости социального и других аспектов творчества Достоевского.

Анализ указанной проблемы не привлекал специального внимания советских исследователей.¹ Между тем мироздание, космос, вселенная — непреходящая «составляющая» той всепоглощающей «идеи-страсти», носителем которой является герой-идеолог Достоевского. Со времен Ренессанса европейская литература, пожалуй, не знала такой гениальной силы воплощения человеческой личности один на один с бесконечной вселенной. Вспомним Цвейга: «У каждого из этих трех писателей есть своя собственная сфера. У Бальзака — мир общества, у Диккенса — мир семьи, у Достоевского — мир личности и вселенной».²

Герой Достоевского не просто ощущает свою причастность к мирозданию, — по мысли и воле автора именно он, этот герой, ответствен за вселенский порядок вещей. Судьба мироздания составляет его личную боль и муку. Такова одна из ипостасей любимой мысли Достоевского — мысли о всемирном болении, при-

¹ Некоторые аспекты проблемы поднимались в свое время символистской критикой, в частности Вяч. Ивановым, а также предтечей символистов Вл. Соловьевым.

² Цвейг С. Три мастера. — В кн.: Цвейг С. Собр. соч., т. 7. Л., 1929, с. 3.